

И. А. Тонкарев

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ



КЛАССИКА

МИО

И. А. Точкарев

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ



Москва
МИФ
2025



ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ



Однажды летом в деревне Грачах, у небогатой помещицы Анны Павловны Адуевой, все в доме поднялись с рассветом, начиная с хозяйки до цепной собаки Барбоса.

Только единственный сын Анны Павловны, Александр Федорыч, спал, как следует спать двадцатилетнему юноше, богатырским сном; а в доме все суетились и хлопотали. Люди ходили, однако ж, на цыпочках и говорили шепотом, чтоб не разбудить молодого барина. Чуть кто-нибудь стукнет, громко заговорит, сейчас, как раздраженная львица, являлась Анна Павловна и наказывала неосторожного строгим выговором, обидным прозвищем, а иногда, по мере гнева и сил своих, и толчком.

На кухне стряпали в трое рук, как будто на десятирких, хотя все господское семейство только и состояло, что из Анны Павловны да Александра Федорыча. В сарае вытирали и подмазывали повозку. Все были заняты и работали дó поту лица. Барбос только ничего не делал, но и тот по-своему принимал участие в общем движении. Когда мимо его проходил лакей, кучер или шмыгала девка, он махал хвостом и тщательно обнюхивал проходящего, а сам глазами, кажется, спрашивал: «Скажут ли мне наконец, что у нас сегодня за суматоха?»

А суматоха была оттого, что Анна Павловна отпускала сына в Петербург на службу, или, как она говорила,

людей посмотреть и себя показать. Убийственный для нее день! От этого она такая грустная и расстроенная. Часто, в хлопотах, она откроет рот, чтоб приказать что-нибудь, и вдруг остановится на полуслове, голос ей изменит, она отвернется в сторону и оботрет, если успеет, слезу, а не успеет, так уронит ее в чемодан, в который сама укладывала Сашенькино белье. Слезы давно кипят у ней в сердце; они подступили к горлу, давят грудь и готовы брызнуть в три ручья; но она как будто берегла их на прощанье и изредка тратила по капельке.

Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер Сашеньки, Евсей. Он отправлялся с баринном в Петербург, покидал самый теплый угол в доме, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве Анны Павловны и — что всего важнее для Евсея — первой ее ключницы.

За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на котором готовился чай, кофе, закуска. Евсей прочно занимал место и за печкой, и в сердце Аграфены. На другом стуле заседала она сама.

История об Аграфене и Евсее была уж старая история в доме. О ней, как обо всем на свете, поговорили, позлословили их обоих, а потом, так же как и обо всем, замолчали. Сама барыня привыкла видеть их вместе, и они блаженствовали целые десять лет. Многие ли в итоге годов своей жизни начтут десять счастливых? Зато вот настал и миг утраты! Прощай теплый угол, прощай Аграфена Ивановна, прощай игра в дураки, и кофе, и водка, и наливка — все прощай!

Евсей сидел молча и сильно вздыхал. Аграфена, насупись, суетилась по хозяйству. У ней горе выразалось по-своему. Она в тот день с ожесточением разлила чай и, вместо того чтоб первую чашку крепкого чая подать,

по обыкновению, барыне, выплеснула его вон: никому, дескать, не доставайся, и твердо перенесла выговор. Кофе у ней перекипел, сливки подгорели, чашки валились из рук. Она не поставит подноса на стол, а брякнет; не отворит шкапа и двери, а хлопнет. Но она не плакала, а сердилась на все и на всех. Впрочем, это вообще было главною чертою в ее характере. Она никогда не была довольна; все не по ней; всегда ворчала, жаловалась. Но в эту роковую для нее минуту характер ее обнаруживался во всем своем пафосе. Пуще всего, кажется, она сердилась на Евсея.

— Аграфена Ивановна!.. — сказал он жалобно и нежно, что не совсем шло к его длинной и плотной фигуре.

— Ну что ты, разиня, тут расселся? — отвечала она, как будто он в первый раз тут сидел. — Пусти прочь: надо полотенце достать.

— Эх, Аграфена Ивановна!.. — повторил он лениво, вздыхая и поднимаясь со стула и тотчас опять опускаясь, когда она взяла полотенце.

— Только хнычет! Вот пострел навязался! Что это за наказание, Господи! И не отвяжется!

И она со звоном уронила ложку в полоскательную чашку.

— Аграфена! — раздалось вдруг из другой комнаты. — Ты никак с ума сошла! Разве не знаешь, что Сашенька почивает? Подралась, что ли, с своим возлюбленным на прощанье?

— Не пошевелись для тебя, сиди как мертвая! — прошипела по-змеиному Аграфена, вытирая чашку обеими руками, как будто хотела изломать ее в куски.

— Прощайте, прощайте! — с громаднейшим вздохом сказал Евсей. — Последний денек, Аграфена Ивановна!

— И слава богу! пусть унесут вас черти отсюда: просторнее будет. Да пусти прочь, негде ступить: протянул ноги-то!

Он тронул было ее за плечо — как она ему ответила! Он опять вздохнул, но с места не двигался; да напрасно и двинулся бы: Аграфене этого не хотелось. Евсей знал это и не смущался.

— Кто-то сядет на мое место? — промолвил он, все со вздохом.

— Леший! — отрывисто отвечала она.

— Дай-то бог! лишь бы не Прошка. А кто-то в дураки с вами станет играть?

— Ну хоть бы и Прошка, так что ж за беда? — со злостью заметила она.

Евсей встал.

— Вы не играйте с Прошкой, ей-богу, не играйте! — сказал он с беспокойством и почти с угрозой.

— А кто мне запретит? ты, что ли, образина этакая?

— Матушка Аграфена Ивановна! — начал он умоляющим голосом, обняв ее — за талию, сказал бы я, если б у ней был хоть малейший намек на талию.

Она отвечала на объятие локтем в грудь.

— Матушка Аграфена Ивановна! — повторил он, — будет ли Прошка любить вас так, как я? Поглядите, какой он озорник: ни одной женщине проходу не даст. А я-то! э-эх! Вы у меня, что синь-порох в глазу! Если б не барская воля, так... эх!..

Он при этом крикнул и махнул рукой. Аграфена не выдержала: и у ней наконец горе обнаружилось в слезах.

— Да отстанешь ли ты от меня, окаянный? — говорила она плача, — что мелешь, дуралей! Свяжусь я с Прошкой! разве не видишь сам, что от него путного слова не добьешься? только и знает, что лезет с ручищами...

— И к вам лез? Ах, мерзавец! А вы небось не скажете! Я бы его...

— Полезь-ка, так узнает! Разве нет в дворне женского пола, кроме меня? С Прошкой свяжусь! вишь, что выдумал! Подле него и сидеть-то тошно — свинья свиньей. Он, того и гляди, норовит ударить человека или сожрать что-нибудь барское из-под рук — и не увидишь.

— Уж если, Аграфена Ивановна, случай такой придет — лукавый ведь силен, — так лучше Гришку посадите тут: по крайности малый смирный, работающий, не зубоскал...

— Вот еще выдумал! — накинулась на него Аграфена, — что ты меня всякому навязываешь, разве я какая-нибудь... Пошел вон отсюда! Много вашего брата, всякому стану вешаться на шею: не таковская! С тобой только, таким лешим, попутал, видно, лукавый за грехи мои связаться, да и то каюсь... а то выдумал!

— Бог вас награди за вашу добродетель! как камень с плеч! — воскликнул Евсей.

— Обрадовался! — зверски закричала она опять, — есть чему радоваться — радуйся!

И губы у ней побелели от злости. Оба замолчали.

— Аграфена Ивановна! — робко сказал Евсей немного погодя.

— Ну, что еще?

— Я ведь и забыл: у меня нынче с утра во рту маковой росинки не было.

— Только и дела!

— С горя, матушка.

Она достала с нижней полки шкапа, из-за головы сахара, стакан водки и два огромных ломтя хлеба с ветчиной. Все это давно было приготовлено для него ее

заботливой рукой. Она сунула ему их, как не суют и собакам. Один ломоть упал на пол.

— На вот, подавись! О, чтоб тебя... да тише, не чавкай на весь дом.

Она отвернулась от него с выражением будто ненависти, а он медленно начал есть, глядя исподлобья на Аграфену и прикрывая одною рукою рот.

Между тем в воротах показался ямщик с тройкой лошадей. Через шею коренной переброшена была дуга. Колокольчик, привязанный к седелке, глухо и несвободно ворочал языком, как пьяный, связанный и брошенный в караульную. Ямщик привязал лошадей под навесом сарая, снял шапку, достал оттуда грязное полотенце и отер пот с лица. Анна Павловна, увидев его из окна, побледнела. У ней подкосились ноги и опустились руки, хотя она ожидала этого. Оправившись, она позвала Аграфену.

— Поди-ка на цыпочках, тихохонько, посмотри, спит ли Сашенька? — сказала она. — Он, мой голубчик, проспит, пожалуй, и последний денек: так и не нагляжусь на него. Да нет, куда тебе! ты, того гляди, влезешь как корова! я лучше сама...

И пошла.

— Поди-ка ты, не корова! — ворчала Аграфена, воясь к себе. — Вишь, корову нашла! много ли у тебя таких коров-то?

Навстречу Анне Павловне шел и сам Александр Федорыч, белокурый молодой человек в цвете лет, здоровья и сил. Он весело поздоровался с матерью, но, увидев вдруг чемодан и узлы, смутился, молча отошел к окну и стал чертить пальцем по стеклу. Через минуту он уже опять говорил с матерью и беспечно, даже с радостью смотрел на дорожные сборы.

— Что это ты, мой дружок, как заспался, — сказала Анна Павловна, — даже личико отекло? Дай-ка вытру тебе глаза и щеки розовой водой.

— Нет, маменька, не надо.

— Чего ты хочешь позавтракать: чайку прежде или кофейку? Я велела сделать и битое мясо со сметаной на сковороде — чего хочешь?

— Все равно, маменька.

Анна Павловна продолжала укладывать белье, потом остановилась и посмотрела на сына с тоской.

— Саша!.. — сказала она через несколько времени.

— Чего изволите, маменька?

Она медлила говорить, как будто чего-то боялась.

— Куда ты едешь, мой друг, зачем? — спросила она наконец тихим голосом.

— Как куда, маменька? в Петербург, затем... затем... чтоб...

— Послушай, Саша, — сказала она в волнении, положив ему руку на плечо, по-видимому с намерением сделать последнюю попытку, — еще время не ушло: подумай, останься!

— Останься! как можно! да ведь и... белье уложено, — сказал он, не зная, что выдумать.

— Уложено белье! да вот... вот... вот... гляди — и не уложено.

Она в три приема вынула все из чемодана.

— Как же это так, маменька? собрался — и вдруг опять! Что скажут...

Он опечалился.

— Я не столько для себя самой, сколько для тебя же отговариваю. Зачем ты едешь? Искать счастья? Да разве тебе здесь нехорошо? разве мать день-деньской не думает о том, как бы угодить всем твоим прихотям? Конечно,

ты в таких летах, что одни материнские угождения не составляют счастья; да я и не требую этого. Ну, погляди вокруг себя: все смотрят тебе в глаза. А дочка Марьи Карповны, Сонюшка? Что... покраснел? Как она, моя голубушка, — дай Бог ей здоровья — любит тебя: слышь, третью ночь не спит!

— Вот, маменька, что вы! она так...

— Да, да, будто я не вижу... Ах! чтоб не забыть: она взяла обрубить твои платки — «я, говорит, сама, сама, никому не дам, и метку сделаю», видишь, чего же еще тебе? Останься!

Он слушал молча, поникнув головой, и играл кистью своего шлафрока*.

— Что ты найдешь в Петербурге? — продолжала она. — Ты думаешь, там тебе такое же житье будет, как здесь? Э, мой друг! Бог знает, чего насмотришься и натерпишься: и холод, и голод, и нужду — все перенесешь. Злых людей везде много, а добрых нескоро найдешь. А почет — что в деревне, что в столице — все тот же почет. Как не увидишь петербургского житья, так и покажется тебе, живучи здесь, что ты первый в мире; и во всем так, мой милый! Ты же воспитан, и ловок, и хорош. Мне бы, старухе, только оставалось радоваться, глядя на тебя. Женился бы, послал бы Бог тебе деточек, а я бы нянчила их — и жил бы без горя, без забот, и прожил бы век свой мирно, тихо, никому бы не позавидовал; а там, может, и не будет хорошо, может, и помянешь слова мои... Останься, Сашенька, — а?

Он кашлянул и вздохнул, но не сказал ни слова.

* *Шлафрок* — длинный домашний халат с запахом, подпоясанный шнуром с кистями. *Здесь и далее прим. ред.*